

философский пафос. Его мышление исключительно оригинально, но у него (и это — характерная черта его духовного облика) ревность об идее и ее судьбе вытесняет из сознания притязание на авторство. Он всегда как бы уходит в тень и выдвигает на первый план тех, кто, по его мнению, уже до него сказал то же самое. Таково, в частности, его отношение к Достоевскому и Киркегарду. Русская художественная литература (Достоевский, Толстой) владеет думами Шестова с первых опытов его философствования. Он пламенеет ее настроенностью и считает, что она есть самое ценное воплощение русской философской мысли. Но когда он проблематику знания, которая есть его тема, целиком относит к Достоевскому, то все же то, что Достоевский сказал до Шестова, обретает свой полный смысл только *после* того, как попадает в магнитное поле шестовской мысли. Или: об «отстранении этического» у Киркегарда, которого Шестов до последних годов едва знал по имени, т. е. об отстранении добра, когда добро посягает стать на место живого Бога, Шестов нередко рассказывает так, как если бы он, Шестов, никогда не заканчивал уже один из своих самых ранних трудов, словами: «Добро не есть Бог. Нужно искать того, что выше добра. Нужно искать Бога»³. А между тем и «отстранение этического», и многое другое Шестов проводит с упорством и смелостью, которых не хватало Киркегарду, не раз отступавшему.

Но если Шестов не притязает на исключительную оригинальность, то она все же — удел его *malgré lui*. В пьесе Ибсена корона достается тому из «претендентов на престол», который есть законный претендент и у которого есть своя «королевская идея»⁴. У Шестова тоже есть своя «королевская идея», потому что он — философ «Божьей милостью».

Г. Л. ЛОВЦКИЙ

Философские труды Л. И. Шестова

В день 70-летия Л. И. Шестова в читателе возникает естественно желание оглянуться на пройденный русским философом путь, по его книгам, как по вехам, проследить движение шестовской мысли. Для самого Шестова не оглядка на пройденный путь, не холодная осмыслительность раздумья, а неудержимое, страстное стремление вперед в страну обетованную, борьба последняя и величайшая за самое важное, за единое на потребу. Оглянешься — и, как Орфей, потеряешь самое ценное, свою Эвридику...

Уже с первой книгой «Шекспир и его критик Брандес» Шестов вступает за права человека, которого интеллектуализм отдал на поток

и разграбление мертвым схемам геометрии бытия, и эта борьба принимает у него разнообразные формы в дальнейших книгах, но к ней прибавляются новые и новые мотивы, все новые и новые темы. Проследить все богатство философской тематики Шестова здесь невозможно, можно только назвать «Добро в учении Толстого и Ницше» («Философия и проповедь»), «Достоевский и Ницше» («Философия трагедии»), «Апофеоз беспочвенности» («Опыт адогматического мышления»), «Начала и концы», «Великие кануны» — первые шесть томов произведений Шестова. Эти книги стали теперь библиографической редкостью, за исключением второго и третьего тома, переизданных «Скифами», и русскому читателю приходится часто довольствоваться тем или иным переводом на иностранные языки, вплоть до китайского и японского. Почти исчерпывающую библиографию читатель найдет в книге голландского доктора Suys'a, посвященной философскому творчеству Шестова и вышедшей в свет у Зейффарда в Амстердаме¹. Седьмой том «Власть ключей» (изд. «Скифов») и восьмой том «На весах Иова» (изд. «Современных записок») появились на русском языке уже за рубежом. С тех пор — «Скованный Парменид» напечатан в отдельном издании УМСА, и ряд работ появился пока в «Ревю филозофик», «Пути» и других повременных изданиях. Из них особенное значение имеет работа, посвященная замечательному знатоку средневековой философии Жильсону² и носящая характерное название «Афины и Иерусалим». Здесь не впервые отец веры Авраам противопоставляется поклонившемуся разуму Сократу, в ком еще Ницше увидел павшего человека, декадента.

Шестов не философ одной идеи, как некоторые ошибочно думают; еще более чуждо ему намерение придать свое лицо многочисленным мыслителям, по чьим душам он странствует. Особенно ярко это сказалось в курсе лекций, который Шестов теперь читает в Институте славяноведения, при Парижском университете. Будем надеяться, в интересах русских читателей, что этот курс появится не только во французском переводе, но и в оригинале, тем более что он посвящен не только знаменитому датскому философу Киркегору, но и творцу «Записок из подполья» Достоевскому.

В философии Киркегора находишь поразительные созвучия с мыслями Шестова: таков его «прыжок», его борьба против гегелевского «жевания жвачки» — «самодвижения понятий», его «абсурд», «парадокс», «телеологическая приостановка этического» («Добро не есть Бог... Нужно искать того, что выше сострадания, выше добра. Нужно искать Бога», на языке Шестова) и т. д., и т. д. И при всем том нельзя назвать Шестова Киркегором Востока, как это одно время казалось некоторым представителям школы знаменитого швейцарского теолога Карла Барта. Датскому мыслителю не дано было сделать «второе движение» — движение веры: он склонился пред необходимостью.

Для Шестова необходимость — ничто, это паскалевское сверхъестественное наваждение, созданное нашим неизлечимо самоуверенным, черпающим все из себя разумом. «Критику чистого разума» написал не Кант, а Достоевский. Вспомним его замечательные слова, которые так часто цитирует Шестов: «Невозможность — значит каменная стена. Какая каменная стена? Ну разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел, так уж нечего морщиться, принимай как есть!.. “Помилуйте, — закричат нам, — восставать нельзя: это дважды два четыре! Природа нас не спрашивается; ей дела нет до наших желаний и до того, нравятся ль вам ее законы или не нравятся”...» «Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить; но я и не примирюсь с ней потому только, что это каменная стена, а у меня сил не хватило».

В гениальном прозрении здесь творцом «Записок из подполья» ставится знаменитый кантовский вопрос: «Возможна ли метафизика?». На этот вопрос для Шестова двух ответов нет, но к метафизическим откровениям ведет не предуказанный Кантом «королевский путь» математических и естественных наук; небо открывается даже не тем, кто торопится в мистическом порыве слиться с Абсолютом, с Единым: в эту страну величайших философских прозрений можно попасть, только преодолев самоочевидности, в редкие мгновения высшей державной свободы. Шестов где-то рассказывает про посещение королевой Викторией, в сопровождении свиты, театра. Войдя в ложу, английская королева села, не оглянувшись: кресло должно быть, *потому что* королева садится. Ее придворные дамы предварительно оглянулись, убедились, что стулья есть, и тогда лишь решились сесть. На этом примере из повседневной жизни ярко очерчена разница между умозрительной философией, ощупывающей каждый шаг, опирающейся на доводы разума, и философией, преодолевающей самоочевидности. Даже один из гениальнейших представителей экзистенциальной философии (философии существования) Киркегор не смог в своей личной жизни преодолеть самоочевидности, не смог сделать движение веры, ведущее в землю обетованную; в страхе пред ничем, пред необходимостью он оглянулся и потерял свою Регину — Эвридику.

Мы окружены тайной тысячи и одной ночи, мы на каждом шагу слышим, видим, осязаем, чувствуем чудеса жизни. Перестанем им придавать холодную, беспристрастную оценку умозрительной философии, тогда и вопли пророков, и крик радостный «Песни песней», и глас псалмопевца приобретут для нас «методологическое» значение, которое они приобрели в философии Шестова: его мысль, страстная, живая, далека от научного беспристрастия Канта, регулярного, методичного

и спокойного, как часы на соборной площади Кёнигсберга (Гейне)³. В такой же мере стиль Шестова — не тяжеловесная, неуклюжая проза автора «Критики чистого разума». Философия его и по форме освобождает нас от той паутинообразной диалектики, которая обволокла мышление человеческое. Эта форма неразлучна с той «величайшей и последней борьбой», которую Шестов предпринял за освобождение человеческого духа.

Б. Ф. ШЛЁЦЕР

Лев Шестов.

К 70-летию со дня рождения

Признаюсь, не без страха беру перо в руки. Не потому, конечно, что дело идет о «юбилейной» статье, налагающей на автора определенные обязательства; когда пишешь о Шестове, все условности, связанные с этим литературным жанром, немедленно отпадают. С другой стороны, читатель, само собой разумеется, не ждет ведь от меня изложения в каких-нибудь трехстах строках философии Шестова, ее роли и места в развитии русской европейской мысли и пр. Но даже и отказавшись от столь явно непосильной задачи, трудностей много, ибо, по самой сущности своей, мысль Шестова не укладывается в схему и не поддается сжатой формулировке. Не в том дело, что Шестов себе противоречит (его противоречия чисто внешние); наоборот, развитие его мысли отличается совершенно исключительной цельностью, которой могли бы позавидовать многие догматики и систематики.

Когда я читаю и слушаю Шестова, мне часто вспоминается знаменитая речь Бергсона на Болонском философском конгрессе¹. Система философа, его наиболее сложные и отвлеченные построения, говорил Бергсон, являются отражением некой основной интуиции, которой питается все его творчество, которую он пытается в течение всей жизни, и сам не отдавая себе в том отчета, воплотить и высказать себе и другим, но о которой мы, в лучшем случае, способны лишь догадаться, ибо она не может быть вполне выражена в рациональных терминах. Действительно, если при свете последних книг и статей Шестова мы ныне возвращаемся к его первым сочинениям, мы замечаем, что в связи с самыми разнообразными темами, в самых неожиданных подчас формах и как бы автор ни уклонялся, по-видимому, в сторону, все его помыслы вращаются вокруг одного центра. Во всех его произведениях, начиная с первой работы — «Шекспир и его критик Брандес» — и кончая последней, еще неопубликованной, — «Кир-